Алекс Андерс

Лето длиною в год

История о жизни, которая сильнее болезни



16+

Алекс Андерс

Лето длиною в год

«Автор»
2026

Андерс А.

Лето длиною в год / А. Андерс — «Автор», 2026

Анна уезжает к морю, где сосед-часовщик учит её не бежать от страха, а жить рядом с ним. Тёплая и честная книга о болезни, тревоге, одиночестве и смысле. И о лете, которое может длиться целый год.

© Андерс А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Между третьим и четвёртым 6
Глава первая. Остановка 8
Глава вторая. Ночные мысли 15
Глава третья. Рассвет по расписанию 22
Конец ознакомительного фрагмента. 24

Алекс Андерс
Лето длиною в год

ЛЕТО ДЛИНОЮ В ГОД
Роман

© [Алекс Андерс], 2026
Все права защищены. Любое использование материалов данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещено.
Все персонажи и события вымышлены, любые совпадения случайны.

Содержание
Пролог. Между третьим и четвёртым
Глава первая. Остановка
Глава вторая. Ночные мысли
Глава третья. Рассвет по расписанию
Глава четвёртая. Тишина без сигнала
Глава пятая. Пять минут
Глава шестая. Конверты
Глава седьмая. Чужие витрины
Глава восьмая. Стол на двенадцать человек
Глава девятая. Слова вслух
Глава десятая. Сколько бы ни было
Эпилог. Лето длиною в год

Пролог. Между третьим и четвёртым

В больнице лифт не работал, и Анна поднималась пешком.

Четыре пролёта, по двенадцать ступеней в каждом. Она считала их, потому что считать было проще, чем думать. Двенадцать, развернуться, ещё двенадцать. Шов под рёбрами тянул при каждом шаге, будто в нём забыли нитку и теперь кто-то медленно наматывал её на катушку. На площадке между третьим и четвёртым этажом ноги встали сами. Анна ухватилась за перила, холодные, окрашенные много раз одной и той же казённой зелёной краской, и поняла, что дальше не пойдёт.

Мимо пробежала медсестра с лотком, на ходу бросила: «Вам плохо?» — и, не дожидаясь ответа, скрылась в коридоре. Анна осталась стоять. Из окна на лестнице был виден больничный двор: ряд мусорных баков, клумба с одинокими бархатцами, женщина в халате, которая курила, прислонившись к стене, и смотрела в никуда. Было начало июня. Светило солнце. Это казалось неуместным.

Через две недели после операции ей позвонили и сказали: приходите, получим результат гистологии. Она работала в таких словах двадцать лет: результат, этап, риск, срок. Руководитель проектов. Человек, который знает, что любая неопределённость делится на задачи. Сейчас эти слова стояли вокруг неё, как чужие люди в тесном лифте, и каждое смотрело мимо.

Она всё-таки поднялась. Постучала в дверь с табличкой «Орлова И. Л., онколог».

Ирина Львовна Орлова оказалась женщиной лет пятидесяти пяти, невысокой, с коротко стриженными седыми волосами и очками, которые она то снимала, то надевала, пока говорила. На столе у неё лежала вазочка с мандариновыми корками. Они пахли на весь кабинет, остро и празднично, и Анна потом всю жизнь будет вспоминать этот запах, когда услышит слово «диагноз».

— Садитесь, Анна Сергеевна. Я скажу вам всё как есть. Вы любите, чтобы как есть?

— Да.

— Хорошо.

Она говорила пятнадцать минут. Спокойно, без пауз, без прикрас. Анна слушала и записывала. Руки у неё не дрожали, и это было странно. Она писала в блокноте ровным почерком: стадия, тип клеток, лимфоузлы, химиотерапия, шесть курсов, интервал три недели, контрольное обследование после третьего и после шестого. Строчки стояли в столбик, как пункты рабочего плана. Только когда врач замолчала и ждала вопроса, Анна подняла голову и поняла, что в блокноте нет ни одной строки о том, что она чувствует.

— Сколько? — спросила она.

— Что «сколько»?

— Мне осталось.

Ирина Львовна сняла очки. Положила их на стол. Посмотрела прямо, и в этом взгляде не было ни жалости, ни казённой бодрости. Было что-то другое: усталое достоинство человека, который много лет говорит правду и знает, как она весит.

— Я не знаю, — сказала она. — И никто не знает. Я могу показать вам статистику, но статистика описывает группы, а вы не группа. Эта болезнь лечится. У многих мои пациентки живут годами, у кого-то получается дольше, у кого-то хуже, и заранее разделить их нельзя. Я не стану вам врать ни в плохую, ни в хорошую сторону. Давайте считать не месяцы, а этапы. Первый этап: операция, она позади. Второй: шесть курсов. Потом снимки. Потом решим, что дальше. Хорошо?

Анна кивнула. Слова про этапы она понимала. Этапы можно было вписать в график.

— Первый курс через три недели, — продолжала врач. — Это время вам нужно, чтобы восстановиться. Вы одна живёте?

— Одна.

— Есть кто-то, кто может побыть рядом?

Анна подумала о матери, которая звонила по воскресеньям в семь вечера и спрашивала, почему она до сих пор не замужем. Подумала о коллегах, о подруге в Лиссабоне, о пустой квартире на двенадцатом этаже, где лифт гудел за стеной, как большое животное. Подумала о том, что ни одному из них она не рассказала, где на самом деле провела последние две недели.

— У меня есть дом, — сказала она. — Бабушкин. На море. Там тихо.

— Тогда поезжайте, — сказала Ирина Львовна. — Лечение можно проходить в районном онкодиспансере, это в часе езды от вас, я уже посмотрела. Мы будем на связи. Спите, ешьте, гуляйте. Не берите работу.

— Я не умею не брать работу.

— Я знаю, — сказала врач и впервые улыбнулась. — Поэтому говорю вслух.

Она написала на листке свой номер и протянула.

— Звоните, если что-то вас пугает. Любое «что-то». Лучше позвонить и узнать, что всё в порядке, чем сидеть с этим одной.

Спускаясь, Анна снова остановилась на лестничной площадке между третьим и четвёртым этажом. Бархатцы во дворе покачивались на ветру. Женщина у стены докурила и ушла. Анна достала телефон. На экране светилось сорок семь непрочитанных сообщений. Она долго смотрела на них, потом нажала кнопку выключения и положила телефон в сумку, на самое дно.

Это было первое, что она сделала для себя за много лет, не внеся в календарь.

Глава первая. Остановка

Усталость, которую принимают за характер

Дорога заняла одиннадцать часов. Поезд, автобус, ещё один автобус, потом пешком. Чемодан на колёсиках цеплялся за каждую выбоину. Шов тянул, голова кружилась, и последние два километра вдоль моря Анна проходила, останавливаясь через каждые сто шагов, чтобы отдышаться. Июньский вечер стоял над водой тёплый и слоистый, розово-золотой. Чайки лениво переговаривались на камнях. Воздух пах нагретой смолой, йодом и морем, настоящим, ничем не похожим на открытки.

Она не была здесь три года. Не приехала даже на бабушкины похороны: в тот понедельник был релиз, и она приезжала на сутки, на отпевание, на кладбище, на поминки, и уехала поздним поездом, не открыв ни одного ящика в доме. Тимофей Аркадьевич, сосед, держал у себя ключи. Он тогда сказал ей на прощание: «Дом подождёт. Дома вообще терпеливее людей». Она не поняла, к чему он это.

Теперь поняла.

Дом стоял в конце улицы Береговой, на самом краю обрыва: низкий, двухэтажный, с покосившимся крыльцом и верандой, где когда-то сушились травы. Он показался меньше, чем в детстве. Из трубы поднимался дымок. На крыльце сидел человек в вязаной шапке, несмотря на июнь, и колдовал над чем-то мелким и блестящим, разложенным на газете.

— Вы пешком? — спросил он вместо приветствия. — Я бы встретил. Автобус опоздал?

— Автобус пришёл вовремя. Я хотела пройтись.

— Хотели, — повторил он с каким-то странным удовольствием. — Это хорошо. Давно у вас было слово «хотела» без слова «надо»?

Анна открыла рот, чтобы возразить, и закрыла. Тимофей Аркадьевич был сухощавым стариком с лицом, изрезанным морщинами, как карта, и глазами цвета мокрого шифера. Ему могло быть и семьдесят, и восемьдесят. Говорили, что он когда-то чинил часы, а потом, после какой-то истории, о которой в посёлке не принято было спрашивать, остался жить у моря. На газете перед ним лежали шестерёнки, и он перебирал их пинцетом с нежностью, которой Анна ни разу не видела у людей из своего офиса.

— Заходите, — сказал он. — Печка растоплена. В кухне суп. Постель наверху, бельё свежее, Зоя проветривала.

— Спасибо. Мне просто нужно...

Она запнулась. Хотела сказать: «Мне нужно составить план. Две недели, разобрать вещи, оценить крышу, может, начать работать удалённо, по два часа в день...» Это были те слова, которые она репетировала в поезде. Они лежали на языке, как заготовленные открытки. Но в голове вдруг стало пусто и гулко, и вместо плана изо рта вышло другое:

— У меня рак.

Слово повисло между ними. Над обрывом пронеслась чайка, крикнула и исчезла. Анна услышала, как собственное сердце ударило два раза.

Она впервые произнесла это вслух. Не врачу, не в справке, а человеку. Рядом с чужим крыльцом, на закате, в вязаных носках, которые мать положила ей в чемодан без объяснений.

Тимофей Аркадьевич не вздрогнул и не ахнул. Положил пинцет. Снял очки, потёр переносицу и некоторое время смотрел на море.

— Давно знаете?

— Две недели. Была операция. Дальше химия.

— Кто знает?

— Врач. Теперь вы.

— Мама?

— Нет.

Он кивнул, словно проверял по списку.

— Хорошо, что сказали, — произнёс он наконец. — Теперь я знаю, как с вами обращаться.

— Как?

— Как с человеком, — сказал он. — Не как с хрупкой вазой и не как с героиней. Мне такой разговор знаком. У меня жена умерла от этого в девяносто восьмом. Лида. Я не стану говорить, что понимаю вас: у каждого свой путь, и я не лезу в чужой. Скажу только одно. То было тогда, а вы — это вы. Не она. Вы дома. Остальное потом.

Анна почувствовала, как у неё дрожит подбородок, и сжала губы, чтобы не расплакаться. Потом всё-таки заплакала. Не красиво, не с достоинством. Громко, в голос, всхлипывая и вытирая лицо рукавом. Старик сидел рядом, не касаясь её, не произнося ни слова, и это молчаливое присутствие оказалось именно тем, что нужно.

* * *

В первую ночь она проспала четырнадцать часов.

Проснулась в бабушкиной комнате, под ватным одеялом, пахнущим лавандой и сухим деревом, не сразу понимая, где она. Серый утренний свет лился в окно. Рядом, на тумбочке, стояла чашка с остывшим чаем. Первой мыслью было привычное: «Сколько времени? Что я пропустила?»

Потянувшись к тому месту, где обычно лежал телефон, она нащупала пустоту. Вспомнила. Телефон остался выключенным на дне чемодана. Это было единственное, на что хватило сил накануне: не принять решение, а просто не сделать.

Она лежала и ждала знакомой волны вины: той, что накатывала каждое утро с тех пор, как её назначили руководителем проектов. Волны не было. Вместо неё пришла странная, непривычная пустота, ровная, как комната после переезда.

Внизу, на кухне, кто-то звякал посудой и напевал под нос. Спустившись, Анна увидела полную круглую женщину лет семидесяти, в цветастом переднике, которая размешивала что-то в кастрюле.

— Проснулась, ласточка, — сказала женщина, не оборачиваясь. — Я Зоя, соседка. Твоя бабушка была мне подругой сорок лет. Садись, я кашу сварила. С тыквой.

Анна села. Каша была тёплая, густая, пахла маслом и осенью. Она съела тарелку, потом вторую, и только когда Зоя поставила перед ней чай, заметила, что ест и ни разу не посмотрела на часы. Она не помнила, когда в последний раз чувствовала вкус еды.

— Тимофей мне рассказал, — тихо произнесла Зоя, присаживаясь напротив. Лицо у неё было круглое, румяное, с такими добрыми морщинами, что на него хотелось смотреть. — Не сердись. Я ему не чужая, и тебе помощь понадобится. Ты скажи, что можно, чего нельзя, что готовить. Я не врач, но на кухне разбираюсь.

— Врач сказала есть что хочется, пока есть аппетит. Белок, овощи. Не рисковать с сырым.

— Значит, суп, каша, котлетки паровые, — сказала Зоя, загибая пальцы. — Я запомню.

Анна смотрела на неё и вдруг почувствовала, что горло сжимается. Она так привыкла справляться сама, что сейчас, когда кто-то просто сказал «я запомню», не знала, куда деть руки.

— Спасибо, — выдавила она.

— Не за что. Для того и живём, чтобы друг дружке кашу варить.

* * *

На третий день Анна проснулась в шесть утра и, ещё не открыв глаз, потянулась к телефону. Рука снова нащупала пустоту. В груди поднялось то самое: горячая, липкая волна. Вина. Тревога. Мысли о письмах, которые копятся, как снег на крыше, о проекте, который остался на Денисе, о сроках, которые горят. Она села на кровати. Сердце колотилось.

«Я больна, — сказала она себе. — Мне нельзя работать. Врач сказала».

Но это не помогало. Волна накатывала в любом случае. Она уже привыкла, что отдых ощущается как преступление.

Вышла на веранду. На подоконнике лежал листок, придавленный чашкой. Почерк был мелкий, ровный, словно выточенный. «Если захочется работать, сначала выпейте стакан воды и посмотрите на море пять минут. Если и после этого захочется, значит, это желание. Тогда работайте. Если нет, значит, это тревога. Т. А.»

Анна фыркнула. Но воду выпила. Потом вышла к обрыву, села на выброшенное штормом бревно и стала считать волны. Не по методике, а просто потому, что привыкла считать. Одна. Две. Пять. На двенадцатой заметила, что руки, сжатые в замок, разжались сами. На двадцатой почувствовала, что дышит глубже.

К пяти минутам прошло сорок. Она не заметила, как.

Вернувшись, она нашла Тимофея у забора: он красил штакетину в зелёный.

— Захотелось работать? — спросил он, не оборачиваясь.

— Нет. Захотелось есть.

— Это правильное желание.

Она ела хлеб с маслом на крыльце, и на колени к ней запрыгнул рыжий кот, толстый, лениво прищуренный, которого она накануне приняла за часть мебели.

— Это Бублик, — сказала Зоя, проходя мимо с корзинкой. — Он ничей. То есть всеобщий. Но по ночам предпочитает твою бабушку. То есть теперь тебя.

— У меня аллергия на кошек.

— Была? — спросила Зоя. — Или так считалось?

Анна открыла рот и закрыла. Она не помнила, откуда взялась эта аллергия. Кажется, в двадцать лет у одного знакомого чихалось рядом с кошкой, и она решила, что причина общая. Бублик устроился у неё на коленях, тяжёлый и тёплый, будто делал это всегда.

Она не чихнула.

* * *

К концу первой недели Анна научилась трём вещам, которые раньше казались ей невозможными.

Первая: есть, глядя в окно. Не в экран, не в список дел, а просто в окно, за которым ничего особенного не происходит, и всё равно интересно.

Вторая: ложиться днём без оправданий. Сначала она ложилась «на пятнадцать минут» и просыпалась через три часа, с отпечатком подушки на щеке. Тимофей, узнав об этом, кивнул: «Организм берёт своё. Не мешайте».

Третья: переживать приступы вины, не подчиняясь им. Вина приходила волнами, как море, но море можно было просто пережидать, а вина требовала действий. Она шептала: «Ты бездельничаешь. Остальные работают. Ты подводишь людей». И Анна, которая всю жизнь отвечала на этот шёпот немедленным делом, училась отвечать иначе.

Усталость, надо сказать, была двойной, и Анна постепенно научилась их различать. Одна была от болезни и операции: тяжёлая, телесная, будто в мышцы налили свинец. Другая была старой, годами копившейся, и из-за неё Анна ещё до диагноза часто не могла подняться с постели. Она сидела за столом по двенадцать часов, пила кофе, брала сверхурочные, и слова врача на ежегодном осмотре: «вам надо отдохнуть» пропускала мимо ушей. Теперь, лёжа в бабушкиной комнате, она впервые спросила себя: не вырастила ли она сама эту болезнь своим бегом?

Вопрос был страшный. Она поделилась им с Тимофеем на пятый день, вечером, на веранде.

— Не вздумайте, — сказал он резко, и это было первое, что он сказал резко. — Не ищите вину. Рак не награда и не наказание. Он болезнь. Он приходит к монахам и к трудоголикам,

к тем, кто бегал, и к тем, кто лежал. Не нужно считать, что вы заслужили. Это бесполезно и жестоко.

— Но если бы я отдыхала...

— Если бы вы отдыхали, вы бы, возможно, чувствовали себя лучше. Но болезнь всё равно могла прийти. Не берите на себя то, чего не знаете. Берите то, что можете: лечиться, спать, есть, дышать. Остальное не ваше.

Она долго молчала. Потом тихо сказала:

— Меня всю жизнь учили: если плохо, значит, сама виновата.

— Меня тоже. Это дурная наука.

Он налил ей чаю. Некоторое время они сидели молча, глядя, как над морем темнеет небо.

— Знаете, — сказал он, — я тоже много лет ругал себя за Лиду. Что не заметил раньше, что не настоял на врачах, что отпустил её на работу. Потом перестал. Не потому, что оправдал себя, а потому, что понял: можно любить и не уследить. Одно другому не мешает.

— Это называется «усталость от вины», — сказала Анна почти шёпотом.

— Это называется «человек», — ответил он.

* * *

Море Анна увидела по-настоящему только на седьмой день. До этого она смотрела на него со стороны: из окна, с веранды, с бревна на обрыве. Оно было красивым фоном, декорацией к её отдыху. Но однажды утром, когда она сидела на песке у подножия обрыва, куда спустилась по узкой тропинке, держась за кусты, ей вдруг захотелось войти в воду.

— Холодно, — сказал Тимофей, который, как выяснилось, ходил за ней на расстоянии, делая вид, что просто гуляет. — Июнь. Вода градусов четырнадцать.

— Мне не купаться. Мне просто ноги.

— Тогда ничего. Только шов не мочите.

Он не стал отговаривать, и это было важнее любых разрешений. Анна сняла кеды, закатала джинсы до колен и осторожно шагнула вперёд. Первая волна коснулась пальцев, и по телу пробежала такая острая, почти болезненная дрожь, что она ахнула вслух. Вода была ледяной, чистой, живой. Она обхватывала щиколотки, отступала, возвращалась снова и каждый раз оставляла на коже россыпь мелких мурашек.

Анна стояла по щиколотку в море и смеялась. Не от радости, а от удивления. Она не помнила, когда в последний раз чувствовала воду. Настоящую, а не из крана или бассейна, в котором плавала по абонементу, глядя на часы.

— Ну как? — крикнул Тимофей с берега.

— Холодно!

— Хорошо!

— Это хорошо?

— Это значит, что вы живая, — сказал он. — Если бы вам было всё равно, было бы хуже.

Она сделала ещё несколько шагов. Вода дошла до колен. Подол джинсов намок, но ей было безразлично. Волны качали её, как большую тихую лодку, и в этом мерном покачивании было что-то древнее, успокаивающее, как в колыбельных, которые пела бабушка.

Она вспомнила, что врачи называли её тело «организмом». «Организм хорошо перенёс операцию». «Организм реагирует на препарат». И правда, за последние недели она привыкла смотреть на себя как на сложный механизм, который нужно починить. А сейчас, стоя в холодной воде, она вдруг почувствовала себя не механизмом, а частью чего-то большего. Не пациенткой. Не проектом. Живым существом, которому разрешено ощущать воду.

Она вышла на берег, дрожа, с посиневшими ногами, и села на тёплый камень. Тимофей без слов протянул ей полотенце и термос. Горячий чай обжёг язык, и этот ожог показался ей чуть ли не наслаждением.

— Знаете, что странно? — сказала она, растирая ноги. — Я всю жизнь жила у моря. То есть у бабушки, в детстве, каждое лето. И ни разу не задумывалась, как это: просто стоять в воде.

— Дети не задумываются, — отозвался он. — Они делают. А потом вырастают и начинают планировать. Хорошо, что вы вернулись к простому.

— Это не потому, что я хочу. Это потому, что болею.

— Это неважно, почему, — сказал Тимофей. — Важно, что вы стоите здесь, а не в очереди на какое-то счастливое «потом».

Она промолчала. Солнце поднималось над водой, и вокруг неё золотились камни, песок, водоросли, выброшенные ночным прибоем. Вдалеке кричали чайки. В воздухе пахло солью и свежестью, и этот запах, думала она, нельзя вообразить, его можно только вдохнуть.

Вечером, укладываясь спать, она обнаружила на ногах тонкую корочку соли. Не стала смывать. Легла, чувствуя, как кожа слегка стягивается, и засыпала с ощущением, что море осталось на ней, как память, как тихий знак: «Ты была здесь. Ты чувствовала».

* * *

На десятый день Анна впервые включила телефон.

Она готовилась к этому, как к прыжку в холодную воду. Сидела на кровати с телефоном на ладони и слушала собственное сердце. Потом нажала кнопку.

Уведомлений было больше трёхсот. Она листала их, как смотрят на последствия землетрясения, и вдруг заметила странное: почти ничего из этого не требовало её участия. Спрашивали, где лежит файл, который давно лежал в общей папке. Согласовывали то, что можно было согласовать без неё. Благодарили друг друга. Критическим из трёхсот оказалось одно письмо, и то не критическим, а просто важным, и на него можно было ответить за три минуты.

Она ответила. Написала Денису: «На больничном до осени. Работу передала тебе. Справишься». Выключила телефон и некоторое время сидела, ошеломлённая.

Мир не рухнул. Компания не развалилась. Её отсутствие оказалось просто отсутствием, а не катастрофой. Это одновременно кольнуло обидой и дало странное облегчение: если мир не ломается от её отсутствия, значит, её присутствие не обязано быть жертвой.

Вечером она рассказала об этом Тимофею. Он слушал, ковыряя отвёрткой механизм настенных часов.

— Вы знаете, что вы сделали? — спросил он. — Проверили гипотезу. Десять лет вы верили: «Если я остановлюсь, всё развалится». Остановились. Не развалилось. Теперь это не вера, а факт.

— Вы что, учёный?

— Часовщик. Почти то же самое, только добрее.

Она села рядом и смотрела на его руки: тёмные, в пигментных пятнах, с узловатыми суставами, и всё же нежные, как у человека, который держит птенца. Давно она не видела, чтобы кто-то делал что-то настолько медленно и настолько без спешки.

— Я хочу вам кое-что объяснить, — сказал он, не отрываясь от работы. — Есть два вида дел. Одни вы делаете из любопытства, другие из страха. Снаружи они выглядят одинаково. Разница в том, что после дела из любопытства вы усталый, но тёплый. А после дела из страха пустой, как выжатый лимон.

— Почти вся моя работа была второго рода, — сказала Анна медленно.

— Вот. Теперь вы это видите. Это важно: пока вы лечитесь, силы нужно тратить только на то, что греет. На всё остальное их не хватит.

Он достал из кармана клочок бумаги и написал одну строчку. Протянул ей.

«Остановка — это тоже действие».

— Приклейте на холодильник, — сказал он. — Читайте по утрам. Сначала будет смешно. Потом перестанет.

Анна приклеила. Утром прочитала с усмешкой. На третье утро без усмешки. На десятое поймала себя на том, что готовит кофе, держа в руке чашку, и просто смотрит, как поднимается пар. Целых две минуты. Она ничего не планировала и ни о чём не беспокоилась.

Это было почти как отпуск, которого у неё никогда не было.

* * *

Накануне первого курса Зоя пришла вечером с большой клетчатой сумкой и объявила, что они будут собираться.

— Куда? — удивилась Анна.

— На войну, — сказала Зоя. — Я у Гали спросила, она уже сто человек провожала. Сказала, что нужно взять с собой, чтобы было не так страшно.

Она высыпала содержимое сумки на кухонный стол. Там оказалась целая коллекция: тёплый плед, толстые вязаные носки, термос, пара яблок, шоколадка, флакончик с мятным маслом, очки для чтения, пачка влажных салфеток, маленькая подушка в клетчатой наволочке и толстая старая книга в потрёпанном переплёте.

— Это что? — спросила Анна, поднимая книгу.

— «Двенадцать стульев». Мой Николай её читал, когда лежал в больнице. Говорил, лучше любого лекарства. Если смех сквозь зубы, значит, живой.

Анна рассмеялась и открыла книгу. На форзаце круглым старательным почерком было выведено: «Зоя, спасибо, что ты есть. Н.». Она тихо закрыла обложку.

— Я не могу взять. Это же память.

— Для того память и нужна, чтобы её брали с собой, — сказала Зоя с неожиданной серьёзностью. — Она греет. А мне Николай и без книги снится.

Они сидели за столом до позднего вечера. Зоя раскладывала вещи по пакетам и приговаривала: «Это на колени. Это на голову, если замёрзнешь. Это в карман, чтобы под рукой». Анна смотрела на её руки, красные, широкие, привыкшие к труду, и думала о том, как много любви может поместиться в простую клетчатую сумку.

— Зоя, — сказала она наконец. — А вам было страшно? Когда провожали Николая?

— Конечно. — Зоя не подняла глаз от салфеток. — Страшно было каждый день. Но я знала одно: если я буду бояться вместе с ним, ему станет страшнее. Поэтому я брала пакет и шла. Улыбалась. А потом возвращалась домой и плакала в ванной. Включала воду, чтобы он не слышал.

— Это тоже неправильно, — тихо сказала Анна. — Прятаться.

— Я знаю. Теперь знаю. Я ему потом на кладбище всё рассказала, что плакала. Он, наверное, и так всё слышал. Люди слышат больше, чем мы думаем.

Она вдруг подняла глаза, и Анна увидела, что они влажные.

— Так вот, — сказала Зоя твёрдо. — Ты если захочешь плакать, плачь при мне. Хоть в процедурной, хоть дома, хоть на огороде. Я не обижусь. У меня нервы закалённые.

— Спасибо, — выдохнула Анна.

— Не за что. Я с вами не от доброты. Мне самой нужно. Когда я о ком-то забочусь, мне легче жить.

Вечером, оставшись одна, Анна взяла бумагу и написала письмо. Не врачу, не маме, а себе. Не для того, чтобы кто-то прочёл, а чтобы выговориться:

«Завтра я пойду на первый курс. Я не знаю, как это будет. Я боюсь. Мне хочется, чтобы кто-то сказал, что всё будет хорошо, но я знаю, что никто не может этого сказать. Поэтому говорю я сама. Не «всё будет хорошо», а «я сделаю то, что могу». Я пойду. Я посижу в кресле. Я вынесу этот день. А потом посмотрим».

Она сложила листок и положила в сумку, между пледом и книгой. На всякий случай. Чтобы после курса прочитать и вспомнить, какой смелой была в канун.

* * *

Первый курс химиотерапии пришёлся на двадцатое июня.

Ехать надо было в районный центр, час на автобусе. Тимофей Аркадьевич, который к тому времени надел чистую рубашку, повязал галстук и объявил, что едет, спорить с ним было бесполезно.

— Я вам не нужен, — сказал он в автобусе, глядя в окно. — Я чайник и термос. Я буду сидеть в коридоре и разгадывать кроссворд. Если захотите выйти поговорить, выйдете. Если захотите молчать, помолчим.

— Вам тяжело будет там сидеть, — сказала Анна. — Вы же говорили...

— Говорил. — Он повернулся. — Я за двадцать пять лет ни разу не заходил в такое здание. И вот сижу в автобусе и еду. Знаете, почему? Потому что кому-то пришлось ехать со мной, когда ехала Лида. И этот кто-то был чужой. Сейчас я хочу быть тем, кем он был.

Анна не ответила. Положила ладонь на его руку, лежавшую на колене, тёплую и шершавую.

В дверях диспансера она остановилась. Здание было старое, жёлтое, с облупившейся штукатуркой и палисадником, в котором росли ярко-красные канны. У входа курили две женщины в халатах и мужчина в куртке. Анна смотрела на них и понимала, что сейчас шагнёт внутрь, и жизнь поделится на «до» и «после», как лист бумаги, разрезанный пополам.

— Пять вещей, которые вы видите, — тихо сказал Тимофей рядом.

Она сначала не поняла. Потом вспомнила: он показывал ей это как-то вечером, на веранде.

— Каны, — сказала она. — Дверь. Женщина в халате. Облако. Ваша шапка.

— Четыре, которых можете коснуться.

Она положила руку на перила, на ремешок сумки, на рукав его рубашки, на собственную ключицу.

— Хорошо, — сказал он. — Теперь идёмте.

Они вошли.

Глава вторая. Ночные мысли

Тревога и неопределённость

Процедурная оказалась светлой комнатой с шестью креслами, застеленными клеёнкой, и шестью штативами для капельниц. На подоконнике стоял фикус, пыльный, но живой. На стене висел календарь с котятами, на котором кто-то отмечал карандашом дни недели. Пахло спиртом, чистым бельём и чем-то сладковатым, лекарственным. Анна села в кресло у окна, и молоденькая медсестра с косой по имени Галя, быстро и ласково, как человек, который делает это в сотый раз за день, нашла вену, поставила иглу и подвесила прозрачный пакет.

— Холодновато будет, — сказала Галя. — Если станет плохо, сразу говорите. Не терпите. Тут все говорят.

Анна кивнула. Смотрела, как по трубке к ней ползёт капля за каплей чужая, незнакомая жидкость. Она ожидала, что будет ужасно. На деле было никак. Ничего не болело. Просто сидела женщина в кресле и смотрела на прозрачную трубку, и время тянулось, как резиновое.

— Новенькая? — спросил голос слева.

Она повернула голову. В соседнем кресле сидел мужчина лет шестидесяти пяти, смуглый, с густыми седыми бровями и таким добродушным лицом, что рядом с ним невольно хотелось улыбнуться. Он был в шапке, несмотря на жару, и читал газету, держа её на вытянутой руке.

— Первый курс, — сказала Анна.

— Рафик, — представился он. — Рафик Саидович. Тридцать лет водил автобус по этому району, а теперь вот сижу. Шестой курс. Вы не бойтесь, на первом всегда страшнее, чем на шестом. Потом привыкаешь. К этому тоже привыкаешь, представьте. Я теперь по этой комнате как по родной. Галя, скажи, что я тут каждого знаю!

— Знает, — подтвердила Галя издали. — Пирожки приносит.

— Пирожки не мои, жена печёт, — сказал Рафик. — Хотите? С капустой. Только после, чтобы не мутило.

Анна рассмеялась, неожиданно для себя. Это был первый смех за три недели, и он вышел короткий, хриплый, но настоящий.

Тимофей Аркадьевич, как и обещал, сидел в коридоре с кроссвордом. Когда Анна вышла, шатающаяся, с серым лицом, он встал, подал ей руку и спросил:

— Как?

— Нормально, — сказала она. — Только очень хочется спать.

— Спите, — сказал он. — Это правильное желание.

Дома она заснула, не раздеваясь, на бабушкином диване, и проспала до следующего утра. Проснулась с ватной головой и металлическим привкусом во рту. Тошнило, но слабо, как укачивает на волнах. Бублик лежал на её груди и мурлыкал.

— Это называется «стабильное состояние», — сказала она вслух. — Хорошо.

Но на третью ночь после курса пришло другое.

* * *

Три дня после курса растянулись, как резиновые. Первые сутки Анна почти не вставала. Тошнота приходила волнами, неспешными, как зыбь после шторма, и каждая накатывала и откатывала, оставляя во рту железный привкус и слабость в коленях. Врач выписала таблетки, и Анна принимала их строго по часам, записывая в блокнот время и самочувствие: «Двенадцать ноль-ноль, таблетка. Двенадцать сорок, легче. Четырнадцать, снова». Это было не для отчётности. Это было для себя: чтобы знать, что есть узор, и в узоре есть выход.

Зоя пришла утром второго дня и принесла кастрюлю.

— Я знаю, что тебе ничего не хочется, — заявила она. — Поэтому я не буду спрашивать. Я просто поставлю, а ты съешь, сколько сможешь.

В кастрюле оказался прозрачный куриный бульон, в котором плавали тонкие, почти невесомые лапшинки. Рядом на блюдце лежали сухарики с солью.

— Не геройствуй, — сказала Зоя. — Если не идёт, значит, не идёт. Я потом разогрею.

Анна хотела сказать «спасибо», но вместо этого вдруг расплакалась. Не от слабости, а от стыда. Ей было стыдно, что она лежит, как тряпка, а пожилая женщина приходит с кастрюлей. Что она, всю жизнь кормившая себя и ещё половину отдела, теперь не может самостоятельно сварить макароны.

— Ты чего? — испугалась Зоя.

— Мне неловко, — выдавила Анна. — Я ничего не могу. Только беру.

— Ах, вот оно что. — Зоя села на край кровати, и кровать скрипнула. — Знаешь, сколько лет я стыдилась взять? Когда мой Николай умер, соседи таскали мне еду две недели. Я каждый раз бормотала: «Не надо, я сама». А потом поняла: им это нужно больше, чем мне. Люди не знают, как помочь горю. Они умеют только варить суп. Дай им сварить.

— Я не хочу быть обузой.

— А ты и не обуза. Ты человек, которому сейчас хуже, чем мне. В следующий раз мне будет хуже, и ты принесёшь мне суп. Так оно и работает. Мы друг у друга в долгу, и слава богу, что никто не считает.

Анна смотрела на неё и чувствовала, как что-то оттаивает. Этот довод, простой, домашний, оказался крепче любой теории. «Дай им сварить». Она взяла ложку и выпила три глотка бульона. Потом ещё три.

— Вот, — сказала Зоя. — А ты говоришь, ничего не можешь.

Тимофей заходил вечером, ставил на тумбочку будильник, не говоря ни слова, и уходил. Она не сразу поняла, зачем будильник. Потом заметила: он тикал. Мерно, тихо, как сердце. В те ночи, когда тошнота не давала спать и мысли лезли в голову, тиканье оказывалось странной опорой: что-то в мире продолжало идти ровно, пока она лежала.

На третий день её отпустило. Не сразу, а постепенно, как отпускает судорога. Утром она села за кухонный стол, съела кусочек хлеба, выпила чай и впервые за три дня почувствовала вкус. Он был тёплый, сладкий, домашний, и она поймала себя на мысли: «Какой вкусный чай». Такая простая вещь. И в то же время почти чудо.

Позже она записала в блокнот несколько строк, не рассуждения, а наблюдения, которые потом пригодятся:

«Что помогало после курса: маленькие порции, часто. Вода маленькими глотками. Свежий воздух у окна. Тишина. Не стесняться просить. Принимать помощь без извинений. Когда сомневаюсь, звонить врачу».

Последний пункт она подчеркнула дважды.

* * *

Она проснулась в два часа ночи от того, что сердце колотилось в горле. Лежала в темноте, глядя в потолок. Дом поскрипывал. За окном шумело море. Бублик спал в ногах.

И вдруг в голове возникло: «А что, если...»

Оно появилось тихо, как дым из-под двери. «А что, если лекарства не подействуют? А что, если опухоль растёт прямо сейчас, пока я лежу? А что, если снимок после третьего курса покажет плохое? А что, если у меня год? А что, если полгода? А что, если мама узнает, и мне придётся смотреть, как она плачет? Мне тридцать семь. Я ничего не успела. Ни детей, ни дела, ни книги».

Каждое «а что, если» цеплялось за следующее, как вагоны за локомотив. Анна лежала, чувствуя, как набирает обороты сердце, и ни одна из мыслей не была новой. Она думала их уже тысячу раз. Но ночью они приходили без защиты, как раздетые.

Она взглянула на часы. Двадцать минут третьего. Потом без десяти три. Потом полчетвёртого. Она прокручивала одно и то же, меняя только детали, и каждый круг делал её всё более измотанной и менее способной остановиться.

К четырём утра она сдалась, встала, накинула плед и вышла на веранду. В темноте светился огонёк. На соседской веранде, в трёх шагах от неё, сидел Тимофей Аркадьевич. Перед ним дымилась кружка.

— Не спится? — спросил он, будто они заранее договорились встретиться в этот час.

— Голова не выключается.

— Идите сюда. Плед возьмите потолще.

Она перелезла через низкую перегородку. Он налил ей чаю из термоса, и она обхватила кружку обеими руками. Небо над морем только начинало светлеть, но пока это был скорее намёк, чем рассвет.

— Рассказывайте, — сказал он. — Что там шумит.

Анна начала говорить, и слова посыпались быстро, как бусины из порванной нити. Про снимок, про то, что не знает, сколько осталось, про маму, про тридцать семь, про незаконченную жизнь, про страх, что лечение не подействует, про другой страх, что подействует, но потом всё вернётся. Тимофей слушал, не перебивая, не кивая и не утешая. Только когда она выдохлась, он спросил:

— Сколько из этого происходит прямо сейчас?

— Что?

— Из того, что вы назвали. Что из этого происходит в эту минуту, на этой веранде?

Она замолчала. Посмотрела на чашку. На море. На рыжий хвост Бублика, свесившийся с перил.

— Ничего, — сказала она медленно. — Прямо сейчас я сижу с чаем.

— Вот видите.

— Но это всё может случиться!

— Может, — легко согласился он. — Может случиться что угодно. Хорошее и плохое. Вы четыре часа воевали с тем, чего пока нет, а настоящее тем временем проходило мимо, и вы его не заметили.

Анна хотела возразить, но он поднял ладонь.

— Я не говорю, что тревога глупая. Она не глупая. Она древняя. Она досталась нам от тех, кто когда-то услышал шорох в траве и убежал. Те, кто не бегал, не оставили потомков. Мы все потомки пугливых. Это нормально. Ненормально другое: что у нашей древней тревоги нет тигра, и она ищет его в любом счёте, любом снимке и любом «а что, если».

— И что мне делать? Просто не думать?

— Нет! — Он усмехнулся. — Это худший совет на свете. Попробуйте не думать о белой обезьяне. Прямо сейчас, не думайте.

Она невольно представила белую обезьяну в вязаной шапке.

— Видите? Нельзя не думать. Можно думать иначе. У меня есть три способа. Я не врач и не волшебник. Но за семьдесят лет я подобрал кое-что, что работает. Только сразу скажу: это не вместо лечения и не вместо разговора с врачом. Это на ночь, когда врача рядом нет.

— Хорошо.

— Первый способ: бумага. Вечером перед сном выпишите всё, что шумит. Всё подряд, без порядка и без споров. Просто достаньте из головы и положите на стол. Голова не склад, а рабочее место. Склад это бумага.

— И что дальше?

— Дальше разделите лист на две колонки. В левую перепишите то, что можно сделать: позвонить, спросить, записать, купить, подготовить вопросы врачу. В правую то, что сделать нельзя: будущее, чужое мнение, прошлое, результаты, которых ещё нет. Левое превратите в

маленькие шаги. С правым труднее. Правое надо учиться отпускать. Но хотя бы увидеть, что оно правое.

Анна вспомнила: в проектах она делала то же самое. Риски, которыми можно управлять, и риски, которыми нельзя. Но к собственной жизни этот метод ни разу не применила.

— Второй способ, — продолжал Тимофей, — время для тревоги.

— Что?

— Выделите себе пятнадцать минут в день. Каждый день в одно и то же время, пусть в пять вечера. И тревожьтесь. Тщательно, всерьёз, на полную. Если ночью придёт «а что, если», вы скажете: «Хорошо, подумаю об этом завтра в пять». И запишете. Ум любит, когда ему обещают. Тогда он отпускает.

— Это звучит как шутка.

— Это серьёзнее многого. Тревога питается нерешёнными вопросами. Когда вы даёте ей место и время, она теряет власть. Она ведь на самом деле хочет только, чтобы её услышали.

— А третий?

Он отпил чаю и посмотрел на светлеющее небо.

— Третий — тело. Тревога живёт не в голове, а в теле. В груди, животе, горле. Если голова не слушается, поговорите с телом. Назовите вслух пять вещей, которые видите. Четыре, которых можете коснуться. Три звука. Два запаха. Один вкус. Это возвращает вас из будущего сюда. Сердце не может бояться того, чего нет, пока вы по-настоящему видите то, что есть.

Он говорил негромко, чуть растягивая слова, и Анна поймала себя на том, что дышит ровно.

— Давайте попробуем. Что вы видите?

— Море. Небо. Вашу чашку. Кота. Забор, который вы красили.

— Что можете потрогать?

Она коснулась пледа, шершавого, колючего, пахнущего нафталином. Деревянных перил, прохладных от росы. Кружки, тёплой. Кошачьей шерсти. Собственной руки.

— Что слышите?

— Волны. Чайку. Ваше дыхание.

— Чем пахнет?

— Солью. Дымом. — Она повела носом. — Вашей трубкой.

— Давно бросил. Это печка. — Он улыбнулся. — Что на вкус?

— Чай с мёдом. И с чем-то ещё... с чабрецом?

— Зоя добавляет.

Анна сидела и чувствовала, как что-то внутри медленно оседает. Не исчезает, а оседает, как муть в стакане воды, когда его перестаёшь трясти. Мысли ещё были здесь, но уже не кричали.

— Спасибо.

— Не за что. Идите поспите. Начало дня не обязательно должно быть подвигом.

* * *

В тот день она купила в посёлке, в единственной лавке, толстую тетрадь в клетку с зелёной обложкой, на которой была нарисована бестолковая лошадь. Продавщица Люба сказала, что других нет, и Анна, неожиданно для себя, обрадовалась лошади.

Вечером, сев за кухонный стол, она открыла тетрадь на первой странице. Рука повисла над бумагой. Что писать? Она всю жизнь составляла списки, но всегда списки задач, а не страхов. Это было непривычно, как раздеваться при посторонних.

Потом она написала: «У меня не подействует лекарство».

Потом: «Я не доживу до сорока».

Потом: «Мама будет плакать».

Потом: «Я ничего не успела».

Эта строка далась труднее всего. Она посмотрела на неё и почувствовала, как к горлу подступает ком. Но продолжила писать, как велел Тимофей: быстро, не перечитывая. Через двадцать минут на странице было сорок два пункта. Некоторые были смешными: «Бублик найдёт кого-то лучше меня». Некоторые страшными: «Я не успею понять, зачем это всё».

Она перевернула страницу, расчертила её пополам и начала разбирать.

Левая колонка вышла неожиданно короткой. «Записать вопросы к Ирине Львовне». «Узнать, чем помочь организму при тошноте». «Попросить Зою не кормить меня жареным». «Выяснить, как сказать маме». «Найти онкопсихолога». «Спросить в диспансере, можно ли записаться на разговор». Одиннадцать пунктов из сорока двух. Остальные тридцать один — про будущее, про исход, про сроки, про то, что она не могла знать и не могла изменить.

Анна смотрела на этот перекос и чувствовала странное облегчение. Все эти недели тревога казалась ей чем-то огромным и неподъёмным. А оказалось, что реальной работы в ней на одиннадцать пунктов. Остальное было шумом, который выглядел как работа.

Но один пункт из правой колонки не хотел уходить. Он стоял последним, выведенный крупнее остальных: «Сколько мне осталось?»

Она смотрела на него долго. Потом аккуратно, как делают со словами, которые нельзя вычёркивать, обвела его рамкой и написала рядом: «Не знаю. Никто не знает. Живу сегодня».

Это было не решение. Это была запись. Но запись, кажется, помогла.

* * *

На следующий день ровно в пять Анна села за кухонный стол с чашкой чая и тетрадью. Часы на стене показывали пять. Она сказала себе: «Пятнадцать минут. Тревожься».

И вдруг оказалось, что тревожиться не о чем.

Это было почти смешно. Весь день тревога ждала своего часа, как актриса за кулисами, и теперь, когда сцена была свободна, выяснилось, что реплики забыты. Анна просидела восемь минут, перебирая в голове то, что днём казалось страшным. Почти всё теперь выглядело вялым и размытым. Она добавила в тетрадь два пункта и махнула рукой на остальное.

Зоя, зашедшая как раз за солью, застала её смеющейся над пустой страницей.

— Нашла чему радоваться? — спросила Зоя.

— Я записалась на тревогу, — объяснила Анна. — А она не пришла.

— Конечно не пришла, — кивнула Зоя с видом человека, который знает толк в неявке гостей. — Тревога как свекровь: ругается, пока ты занят, а как позовёшь на разговор, у неё сразу дела.

Анна расхохоталась громко и без оглядки, так громко, что Бублик, спавший у неё на коленях, подпрыгнул и обиженно ушёл.

Но она знала, что это не конец. Тревога вернётся. Тимофей предупредил: «Она не уходит насовсем. Она просто учится вести себя тише». И в ту ночь, действительно, она проснулась в три, и привычная волна «а что, если» попыталась пробраться внутрь. Анна сказала шёпотом: «Подумаю об этом завтра в пять» и перевернулась на другой бок. Волна постояла у порога, потопталась и ушла.

Не идеально, не навсегда. Но сработало.

* * *

Дыханию Тимофей Аркадьевич учил её на берегу, в безветренный вечер, когда вода лежала неподвижно, как расплавленное стекло. Они сидели на тёплых камнях, и он, не вставая, показывал: сначала сам, потом она.

— Не нужно ничего сложного, — говорил он. — Никаких мистических способов. Просто выдох длиннее вдоха. Тело устроено так: когда выдыхаешь долго, оно получает сигнал, что опасности нет.

— Откуда вы знаете?

— Я не знаю, как это называется по-научному. Я знаю, что работает. Когда Лида лежала в больнице, а я ночью сидел рядом, один, мне было страшно, что я сойду с ума. Я нашёл это сам: вдох на четыре счёта, выдох на шесть. Потом выяснилось, что так делают многие. Но я до этого дошёл руками.

— Каким счётом?

— Любым. Главное, чтобы выдох был длиннее. Давайте попробуем.

Анна вдохнула. Раз, два, три, четыре. Выдохнула. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сначала получалось неловко: воздух кончался на пятом счёте, и она шумно догоняла. Потом подстроилась.

— Смотрите на воду, — сказал Тимофей. — Видите, как она дышит? Подымается, опускается. Попробуйте в такт.

Они сидели и дышали. Вдох. Выдох. Тихая вода, тихое небо, тихий мерный гул где-то внутри. Через пять минут Анна заметила, что плечи опустились. Через десять, что разжались челюсти. Она даже не знала, что держала их сжатыми.

— Теперь представьте, что вы в процедурной, — сказал Тимофей. — Кресло, капельница, холод по вене. Что вам там мешает?

— Мысли. Что это ядовитая жидкость. Что она убивает всё живое, в том числе меня. Что я зря на это согласилась.

— А если вы будете дышать вот так?

— Не знаю.

— Попробуйте. Только не заставляйте себя не думать. Пусть мысли идут. Вы просто считайте. Четыре на вдох, шесть на выдох. Мысли будут, но они перестанут быть главными.

Через неделю, на втором курсе, Анна сидела в кресле у окна, смотрела на фикус и считала. Раз, два, три, четыре. Выдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Холод шёл по вене, мысли метались, но поверх них, как поверх воды, лежал ровный, неспешный ритм. Рафик, сидевший рядом, читал газету, держа её на вытянутой руке, и косился на Анну.

— Вы чего? — спросил он негромко.

— Дышу.

— А-а, — протянул он с уважением. — Это у вас по науке или по-старому?

— По-старому. Мне сосед показал. Часовщик.

— Хороший у вас сосед, — одобрил Рафик. — Мне бы такого. А то я всё один, с пирожками.

Галя, проходя мимо, остановилась и посмотрела на экран прибора. Потом на Анну.

— Вот, — сказала она тихо. — Видите, пульс ровный. Давайте так каждый раз.

И Анна поняла, что простой, почти детский приём, доступный любому, оказался для неё надёжнее любой информации и любого обещания. Он не требовал веры. Требовал только внимания.

* * *

Через неделю после первого курса случилось то, чего Анна боялась больше всего.

Ночью у неё поднялась температура. Не высокая, тридцать семь и восемь, но Ирина Львовна на первом приёме строго сказала: при любом подъёме выше тридцати семи с половиной звонить немедленно. Анна лежала в темноте с градусником под мышкой, глядя на светящиеся цифры. Сердце снова пошло в бег. Пальцы похолодели. В голове закрутилось: «Инфекция. Осложнение. Нужно ехать. А как ехать ночью? Автобусов нет. А если я не успею?»

Она вдохнула. Выдохнула. Пять вещей: градусник, одеяло, подоконник, луна, тёмный силуэт Бублика. Четыре, которых можно коснуться. Три звука.

Потом сделала то, что было в левой колонке, и что она записала неделю назад, ещё не веря, что понадобится. Взяла телефон, найденный в сумке, включила и позвонила по номеру, который лежал в блокноте.

Трубку сняли после третьего гудка.

— Орлова слушает.

— Ирина Львовна, это Анна Лисицына. Простите, что ночью. У меня тридцать семь и восемь. Вы просили звонить.

— Хорошо, что позвонили, — сказала врач спокойно. Голос был сонным, но чётким. — Расскажите. Как самочувствие? Озноб? Боль? Кашель?

Анна рассказала. Ей задавали вопросы. Она отвечала. Через пять минут Ирина Львовна сказала: «Пока не страшно. Выпейте воды, измерьте ещё раз через час. Если дойдёт до тридцати восьми или появится озноб, едьте в диспансер, я предупрежу дежурных. Вы там не одна. Звоните в любое время».

— Мне неловко, — призналась Анна. — Я вас разбудила.

— Анна Сергеевна, — сказала врач мягко, — это моя работа. Лучше разбудите меня десять раз зря, чем один раз не разбудите.

Анна положила трубку и сидела, глядя в темноту. Температура через час упала до тридцати шести и девяти. Она не ехала в больницу. Не умерла. Утром её разбудило солнце.

И она вдруг поняла: страх не уменьшился бы, если бы она терпела молча. Он уменьшился, потому что она позвонила. Потому что спросила. Потому что не осталась одна с тем, что можно было разделить.

Это был урок, который потом пригодится ей много раз. Тревога не любит вопросов. Она любит догадки. Каждый раз, когда Анна заменяла догадку вопросом, к врачу, к Тимофею, к самой себе, страх становился на полтона тише.

* * *

Вечером она рассказала об этом Тимофею. Он слушал, молча кивая, и только в конце произнёс:

— Вы научились самому трудному.

— Чему?

— Просить. — Он вытер руки о тряпку. — Многие считают, что просить это слабость. А на самом деле это навык. Как умение плавать. Кто не умеет, тонет там, где другие стоят по колено.

— Я боялась, что надоем.

— Врач не может надоесть тем, что делает её работу. Я бы на вашем месте записал этот номер на стену. Чтобы он всегда был под рукой.

Анна переписала номер на листок и приклеила к холодильнику рядом с «Остановкой». Теперь на дверце висели две записки. Её жизнь, думала она, стала напоминать расписание поезда, в котором каждая станция знает, куда ехать.

Тимофей встал, сунул руки в карманы и вдруг сказал, не глядя на неё:

— Знаете, о чём я жалею больше всего с Лидой?

Анна молчала.

— Что мы ночами не говорили. Нам казалось, что нельзя. Что надо быть сильными, держаться, не расстраивать друг друга. И каждый ночами лежал отдельно, со своим страхом. А потом было поздно. — Он помолчал. — Если ночью станет страшно, стучите. Мне всё равно не спится. Я в эту пору чиню часы.

— Это что, приглашение?

— Это обещание, — сказал он. — Я не тот, кто спасёт вас. Но я тот, кто будет рядом, когда страшно. Это разные профессии, и вторая почему-то нужнее.

Глава третья. Рассвет по расписанию

Бессонница и разбитый режим

Июль выдался жарким. Дом нагревался за день, как печка, и к вечеру внутри пахло горячим деревом и сухими травами, свисавшими с балок. По ночам жара не уходила, а только отступала в угол, и Анна лежала на простыне без одеяла, прислушиваясь к собственному телу.

Тело теперь было новым собеседником, которого она не знала. Оно вело себя капризно и непредсказуемо. Один день она чувствовала себя почти здоровой и ходила до обрыва и обратно. На другой не могла дойти до кухни, и Зоя приносила ей суп на подносе. Металлический привкус во рту не уходил неделями. Руки зябли даже в жару. Иногда на неё накатывала такая тяжёлая сонливость, что она засыпала посреди разговора, с открытым ртом, и просыпалась от собственного вздрагивания.

А ночью, когда тело требовало отдыха, сон не приходил.

Она засыпала в час. Просыпалась в три. Лежала, глядя на потолок с трещиной, похожей на реку на карте. Снова засыпала под утро и просыпалась в одиннадцать с тяжёлой головой. Днём клевала носом, пила кофе, чтобы взбодриться, вечером кофе не давал уснуть, и всё начиналось заново.

Ирина Львовна предупреждала об этом на первом приёме. В дни курса и сразу после него организм получает лекарства, которые взбадривают, сбивают сон, делают его рваным. «Не вините себя, — сказала она. — Если плохо спите больше недели после курса или ночи становятся совсем тяжёлыми, говорите мне. Есть что подобрать. Не терпите в одиночку и не лечитесь сами».

Анна запомнила. Но предупреждение не отменяло того, что происходило ночью. Лежать в темноте, слушать собственное сердце и считать часы, оставшиеся до утра, оказалось отдельной разновидностью мучения.

«Если усну прямо сейчас, будет пять часов, — вычисляла она. — Если через час, будет четыре. Завтра слабость, послезавтра будет хуже. Организму нужен сон, чтобы бороться. А я не сплю. Значит, я подвожу его».

Чем больше она вычисляла, тем дальше уходил сон.

* * *

Однажды ночью, в середине июля, Анна проснулась оттого, что что-то щекотало ей щёку.

Она провела рукой по лицу и нащупала волосы. Много волос. Они лежали на подушке, на плечах, на простыне, как тёмная паутина. Она села. Поднесла руку к голове, провела пальцами по затылку, и в ладони осталась целая прядь, лёгкая и безжизненная, будто чужая.

Врач говорила: это случится, через две-три недели. Анна знала. Читала. Была готова, как ей казалось. Но между «знать» и «держать в руке» оказалась пропасть, и пропасть эта была черной, как ночь за окном.

Она сидела в темноте, сжимая в кулаке прядь, и чувствовала, как в горле растёт что-то большое и горячее. Потом разом, будто прорвалась плотина, завыла. Негромко, сквозь зубы, зажимая рот ладонью, чтобы не разбудить дом. Слёзы текли по пальцам. Она не знала, оплакивает волосы или то, что они означали: что болезнь стала видимой, настоящей, физической.

Бублик подошёл, ткнулся мордой ей в ладонь. Она обняла его и долго сидела, раскачиваясь.

К четырём утра она вышла на веранду. У Тимофея горел свет. Он сидел за столом, склонившись над лупой, и чинил что-то маленькое. Она постучала по перегородке.

— Не спится? — спросил он, не поднимая головы.

— Волосы выпали.

Он положил пинцет.

— Идите сюда.

Она перелезла через низкую ограду, села напротив. Он посмотрел на неё внимательно, без жалости, как смотрят на человека, которого уважают.

— Покажите.

Она вытянула руку. На ладони лежали прядки, три или четыре.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.